

В. О. Ключевский

Н. И. Новиков

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 93
ББК 63.3
К52

К52 **Ключевский В.О.**
Н. И. Новиков / В. О. Ключевский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 38 с.

ISBN 978-5-4241-2524-9

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр., «Исторические портреты» В. О. Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры., Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

ISBN 978-5-4241-2524-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© В.О. Ключевский, 2021

Василий Осипович
Ключевский

Н.И. Новиков

Н. И. Новиков. *С портрета Д. Левицкого*

Его время. Полтораца лет прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомним то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере, сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим. Хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества, настоящим своим делом он считал издательство. На типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка – это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавческую деятельность, которую можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой. Постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения, – вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я, прежде всего, должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, тенью окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века – так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного

чтения. Мы привыкли в своем представлении соединять просвещение с книгой, как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными (внешними. – *Прим. ред.*) условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В Древней Руси читали много, но немного и немногие. Этим чтением со строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое божественное писание, как они ее называли, не хуже, чем «Отче наш...» или святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доныне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходивших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебного ответственною с энергическими последствиями той и другой, и, по мере того как со смертью Петра истощались эти деятельные писатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми*, *архитектурными*, *союзными* и другими подобными. Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечною банкой. И при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания, все же мирила с ней как с неизбежным злом на службе и в общежитии. И вот, приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны, на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал, сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова.

Д.И. Фонвизин

По крайней мере, современник Болотов, в своих записках под 1752 г., рассказывает, что «самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовны-



ми и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие», но таких песенок было еще очень мало, и «они были в превеликую еще диковинку», и потому молодыми барынями и девицами «с языка были не спускаемы». Аза песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе.

Колочая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли, перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели – познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами. Эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем «Бригадире» (1766) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

– Боже тебя сохрани, – говорит первая второму, – от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

– Madame! – отвечает ей Иванушка, – вы говорите правду. Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, «соблазнительных, украшенных скверными эстампами» и испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнею светскою молодежью. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

Титульный лист журнала «Живописен» 1772 г.

«Живописец» Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман – художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман – пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы – подписи внизу. Наших читателей и читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они «влюблялись в обманы и Ричардсона, и Руссо».¹

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным се-

ЖИВОПИСЕЦЪ,

ЕЖЕНЕДВѢЛЬНОЕ

H 2

1772 годъ

СОЧИНЕНИЕ.



ВЪ САНКТ ПЕТЕРБУРГѢ.

мейным романом во вкусе Ричардсоновой «Памелы», продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде «Клариссы», но уже с участием «Ловеласа», а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусом: «Российскую Памелу, или Приключения Марии, добродетельной поселянки», сменяло «Геройство любви», или «Изображение великодушного любовника», а затем уже прямо следовала «Генриетта, или Гусарское похищение» в трех частях. Так родился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически-мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и «с чепухой сладких слов», как выразился некогда Княжнин² овыведенном им в комедии «Чудаки» подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инструментах иотлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! Ни наук, ни правил вы не зная, Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша, после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками, принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрасного пола своему тринадцатилетнему сыну («Живописец» Новикова).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждательных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятно воспринимала это критическое направление просветительной философии и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних *esprits forts* (усилие духа. – *Прим. ред.*) и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий.

Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и, прежде всего, набросилось на простейшие нравственные связи. «Не щадить отца – вот прямая добродетель века!» – восклицает Советница в «Бригадире», восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В лице одного из героев «Чудаков»,

разбогатевшего самодура-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выращенных новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков – в забвение приличий. Словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать.

Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, – это все-таки задавало бы некоторую работу уму, – а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук. Какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (пети-метр в комедии Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной»), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочинный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие полученные из Парижа новости по части атеизма и материализма.

Многим русским вольтерьянцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость – не знать никаких наук. С просветительной философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикой: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятавались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерьянца от законов Божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических. Словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и там, кажется, был приемником,

едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индальгенции.

При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку. После оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французской философией: многие наши вольтерянцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом, воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растревляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусице, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первой турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации, русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения.

Моды в России в 1779 г.

В продолжение 5–6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы «Трутенъ», «Живописецъ» и «Кошелек» по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов.

Вид зала Большого театра в екатерининское время

От журналов Новикова всего больше досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; «Кошелек» даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и